

УДК 1:316

МНЕНИЕ И ВЛАСТЬ: ТРИ ИСТОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РИТОРИЧЕСКОГО САМОУТВЕРЖДЕНИЯ

Н.А.Кашей, Г.П.Китаева

OPINION AND POWER: THREE HISTORICAL MODELS OF RHETORICAL SELF-AFFIRMATION

N.A.Kashchei, G.P.Kitaeva

Гуманитарный институт НовГУ, Nikolay.Kashchey@novsu.ru

Данная статья посвящена неориторической интерпретации понятия мнения и его взаимосвязи с категорией власти. Риторика рассматривается как инструмент социально-политического самоутверждения, и эти ее функциональные характеристики иллюстрируются на примере софистики, Цицерона и Бальдассаре Кастильоне.

Ключевые слова: *маркетинг взаимодействия, интернет вещей, инновации, товарная политика*

The market analysis of the Internet of Things is conducted. It is shown that the development of the Internet of Things involves significant changes in the marketing activities of product and services companies. In forming of marketing strategies we recommended to consider the Internet of Things as part of an innovative trade policy aimed at the creation of new products, at adding some new properties and characteristics to manufactured goods and at entry into new markets.

Keywords: *relationship marketing, Internet of Things, innovations, trade policy*

Исторически первой функциональной моделью политической риторики является самоутверждение посредством мнения, известное как софистическая сновровка в красноречии, которая помогает убедить

сограждан согласиться на предложение, обрести более выгодное положение в обществе, завоевать уважение сограждан и улучшить свои материальные дела. В нашу задачу входит проанализировать основные

черты одного из новейших подходов к исследованию риторики в социально-политической практике, который сложился в последние десятилетия XX века, его цель — обеспечить эффективный обмен мнениями всех участников политического дискурса. Предметом рассмотрения выступает так называемая «доксическая риторика» или «риторическое устройство политического мира», которые развивает Петер Птассек [1, 2] и применяет для анализа информационно-коммуникативной реальности в сфере политики. Речь пойдет не столько об оправдании софистики и других рассматриваемых здесь моделей взаимосвязи мнения и политической власти, сколько об иллюстрации на их материале «неориторических» принципов и тех возможных перспектив, которые здесь открываются.

Это не значит, что необходимо заново переписывать историю философии. Но, как надеется П.Птассек, если софистика в современном контексте приобретает новое звучание и расширяет историко-философский горизонт, то почему бы не пересмотреть значение софистики, поскольку фактически она имеет свои заслуги на поле политической риторики и не только при разрешении обыденных житейских проблем. Мы имеем дело, наверное, с самым амбициозным проектом модернизации софистики, поскольку, как предполагается, можно устранить основные исторически известные и не нашедшие удовлетворительного разрешения софистические проблемы. То есть превратить речь как инструмент софистической власти в инструмент поиска согласия, преодолеть софистическое господство ратора над аудиторией, софистическое всезнайство и бездоказательную компетенцию расширить до гуманистической образованности, а власть силы может предстать как власть справедливости.

Вместе с тем предпринятая модернизация показывает, что софистика с ее нацеленностью на доксу не только исторически ограниченная модель риторики, но и вполне современный инструмент социально-политического взаимодействия, что в полной мере отвечает заявленной цели настоящей работы. Практические вопросы не могут разрешаться с помощью аподиктических доказательств, а вызывают к мнениям как средству убеждения, потенциал которых, как общеизвестно, неточен и эпистемологически, несмотря на все предпринятые протесты, был дискредитирован Платоном. Таким образом, мнения являются тем средством информации, благодаря которому практический разум или рассудительность может принимать верные решения, поэтому еще Аристотель указывает на практическое благоразумие как специфическое свойство рациональной части души. Однако мнения плюралистичны по сути, так как они отображают возможные образы мира, которые так же различны, как и субъекты их выражающие. И поскольку полис состоит из множества граждан, то практические и соответственно политические вопросы являются предметом принципиальной дискуссии, что позволяет следом за П.Птассеком и другими говорить о «доксическом» или «риторическом устройстве политического мира». Вместе с тем, если научное познание не может привнести уверенность в сферу практики и

гарантировать конвенцию по поводу определяющих ориентиров деятельности, и, если коллективная практика столкнулась с противоречием, то вообще возможна ли коллективная практика?

Наш ответ вполне соответствует духу «Риторической рациональности»: разумная практика возможна, если удастся использовать исходную множественность мнений как возможность рационализации именно этой практики, то есть: если дискуссия выступает не как средство дискредитации практических решений, а понимается как возможность разъяснения деятельности. В этом отношении ее доксическая перспективизация повышает уровень требований к предложенным решениям проблемы, что в целом только помогает разумному осмыслению коллективной воли. Именно эта дискурсивная возможность разъяснения дела соответствует размышлению, обсуждению, совещанию, которые представляют такую же специфически человеческую способность, как и способность к речи, поскольку связаны с языком как условием своей возможности. Методизация этих обсуждений совещаний и входит в задачу современной риторики: так как риторика имеет дело с проблемами, которые преодолеваемы только в процессе совещания. Иначе говоря: задача современной риторики — оптимизация деятельности и обеспечение социально-политического взаимодействия; без этой предпосылки нет ни обсуждения, ни убеждения, ни риторики.

Такая риторика, как считает Хабермас, предлагает только такое решение проблемы, которое может считаться разумным, и разумность которого мотивирована убедительной речью. Является ли речь убедительной, решает не говорящий, а, соответственно, слушатели, поскольку «доказательство находится в зависимости от самих слушателей» [3, с. 1356b]. Именно это положение кладет в основу своей «риторической рационализации» П.Птассек, когда определяет условие убедительности речи как предвосхищение согласия во мнении. Это предвосхищение не возможно, если придерживаться позиции коммуникативно непричастного, внешнего наблюдателя, оно предполагает включение в процесс транс-субъективного оформления собственной точки зрения, присоединение к общим потенциалам согласия, которые являются хранилищами мнений, имеющими всеобщее значение (endoxa), так как «они кажутся убедительными всем» [3, с. 1173a]. Именно поэтому в следующей исторической перспективе Цицерон рассматривает топы как носители коллективного благоразумия.

Только указанием на измененные исторические обстоятельства нельзя объяснить преподносимую Цицероном перемену в определении функций риторики. Конечно, римская империя периода перехода от республики к империи представляет собой совсем другие исходные условия для публичной речи, чем греческий город-государство, поэтому обнаружить здесь полисный этос как основу ораторской работы по убеждению, наверное, можно не сразу. Очевидно, стоит так же не забывать новые акценты, привнесенные римским стоицизмом в понимание универсализма, который преподносится Цицероном как особый вид риторического космополитизма.

Вне функционирующей риторической практики, которая претендует быть медиумом политического, Цицерон испытывает трудности восприятия структурного смысла аристотелевской модели риторики, базирующейся на согласовании излагаемых позиций и выраженном в этих точках зрения этосе. Поэтому он ставит на целостность личности ораторов, которые должны как герои красноречия обеспечивать политические связи, на которые, в отличие от них, могли опираться аристотелевские ораторы. Это изменение приоритетов находит выражение в концентрации внимания на авторе риторического действия, т.е. на ораторе. В этом отношении названия цicerоновских работ «Об ораторе» или «Оратор» нужно понимать как следование определенной программе. Опору оратор цicerоновского типа больше не ищет в ставшем сомнительным контексте, а стремится вознестись над любым контекстом. Поэтому известные требования, которым должен соответствовать идеал широко образованного оратора, не взваливаются на него, а выступают в качестве — в смысле стремления к идеалу — опоры риторической ориентации.

Этот идеал воспитания в своей конкретно-исторической форме, в конечном счете, причина того, что позже в эпоху Возрождения больше ссылаются на Цицерона и гораздо меньше на политическую риторику Аристотеля. Конечно, последняя, имеется ввиду цicerоновская, соответствовала языковой традиции средневековья, и понятна гуманистическая антипатия к аристотелевской схоластике, все же, этого объяснения явно недостаточно, чтобы понять, почему именно цicerоновская риторика становится ключом для понимания всей эпохи Гуманизма.

Дело заключается не в том, что Цицерон и Аристотель обобщают разные учебные сюжеты риторической дисциплины. Систематизируемая Аристотелем риторика обладает чрезвычайным постоянством, Цицерон дальше укрепляет сложившуюся традицию, прежде всего, в ее формальных аспектах. Поэтому позднее стадии риторического процесса (*inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio*) изящно используются для создания иной интерпретации риторики, основанной на образовании, которая, как известно, имела большие последствия, однако, продолжала и сложившуюся риторическую традицию. Вообще, цicerоновское расширение риторического до высшего воплощения культуры, предполагает включение и политического, безусловно, лишь как одного из ее пространств, в котором оратор презентует себя как целостную и сильную личность.

Это начало пути, в котором некогда риторически ангажированное политическое все больше и больше впитывает в себя различные контексты гуманизма, отделение которого от культурного становится практически невозможным. Такое обоснованное расширение сферы действия риторики одновременно означает потерю ее специфически политического измерения. С Цицерона риторика принимает форму, благодаря которой она смогла пережить не только отмену своих изначальных политических предпосылок, но и две последующие модификации: христиан-

ское усыновление риторики Августином и сведение ее публичного характера до монолога кафедральной проповеди, а также все возрастающее обособление юридической сферы в римской империи со своим ограниченным полем риторических задач и узко профессиональным пониманием предмета.

Тенденция деполитизации риторики проистекает из космополитического характера общественно-го устройства, которому присущи: «*ratio et oratio*», разум и дар речи образуют человеческое общество со всеми его связями и отношениями. Они объединяют людей в «естественную», «до-политическую» общность, у которой отсутствует должная общественная конституция. Эта общность на деле устанавливается посредством наставления, изучения, взаимного общения. «Но лучше всего человеческое общество и союз между людьми будут сохранены в том случае, если мы будем относиться к каждому с тем большим расположением, чем теснее он с нами связан. Но, чтобы узнать, каковы естественные основы уз между людьми и человеческого общества, надо обратиться к более давним временам; ведь первая основа — та, которая усматривается в общности всего рода людского. Связью этой общности служат разум и дар речи, которые посредством наставления, изучения, взаимного общения, обсуждения и принятия решений сближают и объединяют людей, так сказать, в естественное общество; именно вследствие этого мы, по своей природе, так далеки от зверей, которым, как мы часто говорим, свойственна смелость, например лошадам или львам; но мы не говорим, что им свойственны чувство законности, справедливость, доброта; ибо они лишены разума и дара речи» [4, с. 50].

Идея человеческой общности, основанной на риторике, вытекает из цicerоновского понимания отношений риторики и философии. Однако новое издание старой проблемы происходит в несколько усеченной форме. Примат риторики выводится тенденциозно из феномена языка и путается, в конечном счете, с ним. Ограниченное представление о философии, очевидно, определяется особенностью стоической диалектики, в рамках которой систематизировалось цicerоновское искусство риторического изобретения посредством топаса. «Вся наука искусного ведения спора содержит две части: первая — приискание, вторая — суждение, и, как мне представляется, Аристотель положил начало обеим. Если стоики разработали вторую часть и в науке, называемой ими *διάλεκτική*, с тщательностью исследовали пути суждения, то искусство приискания, которое называют *τοπική*, в обиходе нужнейшее и по природе первейшее, было ими целиком оставлено в стороне» [5, II-6].

В этом отношении топический способ изобретения, который всегда являлся составной частью риторического канона как такового, открывает доступ к излагаемому материалу, который в дальнейшем подвергается диалектической критике, таким образом, изобретение обладает системным преимуществом по отношению к выполняющей критическую функцию философии. Вместе с тем это могло бы быть значимым, если бы речь шла у Цицерона о том, чтобы поставить под сомнение ответственность философии за

разумность практики. Однако речь об этом не идет, поскольку образование и воспитание оратора претендует на большее, а именно: на синтез философии и риторики. Цель синтеза, своего рода собирательство философии риторикой, подразумевается как восстановление исчезнувшего изначального единства.

Функциональная модель элегантного риторического самоутверждения, которая специфическим образом развивает образы всезнающего софиста и цicerоновского героя красноречия, возникает в эпоху раннего абсолютизма, когда закладываются необходимые качества тогдашнего благовоспитанного человека: умение красиво драться на шпагах, изящно ездить на лошади, изысканно танцевать, всегда приятно и вежливо говорить и даже изощренно ораторствовать, владеть музыкальными инструментами, никогда не быть искусственным, но всегда только простым и естественным, до мозга костей светским и в глубинах души верующим. Софистическая изощренность на новой исторической и мировоззренческой почве теперь трансформируется в благородное изящество. Речь идет скорее о поиске эвристического потенциала и избавления от предрассудков, в том числе и в теории риторики, по отношению к риторике определенного исторического периода, который называется эпохой Абсолютизма. Поскольку разговор о внутреннем родстве между риторикой и республиканским строем, между красноречием и демократией — устоявшийся миф в исследованиях по теории и практике риторики.

Уже в эпоху позднего Ренессанса в Западной Европе, да не только Европе, испытывают сильную потребность в государственном мышлении, в это же время становится также очевидным (и это никакое не случайное обстоятельство), что традиционное риторическое образование, которое получали будущие юристы и другие университетские специалисты, явно не соответствует запросам социальной практики. Расселина чувствуется совершенно отчетливо между систематизированным зданием классически-гуманистической риторики, как она преподавалась в школе и университете, с одной стороны, и потребностями политической практики с другой. Изучающие университетскую риторику, как правило, на примерах эталонных речей Цицерона, все больше и больше предпочитают римских авторов имперского периода (прежде всего, таких как аналитик власти Тацит), наставления которых в первую очередь способствовали организации придворных дел и канцелярии.

Из набросанных здесь в общих чертах системных условий вытекают далеко идущие последствия для оратора и, конечно, придворного, который должен пытаться — со своей позиции — соответствовать этим условиям, естественно, если он хочет исполнять свою функцию в этой системе и гарантировать личное преуспевание или, по крайней мере, социальное существование. Языковое поведение в этих условиях превращается в инструмент социального самоутверждения, именно такая роль отводится риторике в сочинении «О придворном» графа Бальдасара Кастиглионе, своего рода книге для придворного, написанной в форме художественно стилизованной учебной

беседы, в которой впечатляюще раскрывается как образовательный идеал, так и идеал человека итальянского двора эпохи Возрождения. Спрос на античную риторику здесь повышенный. И, все же, риторическое знание — прежде всего, из цicerоновского «Оратора» — просто не вводится в новый учебник: речь идет скорее о привнесении культивировавшегося в античности риторического знания в новый поведенческий идеал, который должен способствовать формированию нового социального типа придворного. Диалогическая форма «Книги о придворном» опирается на образцы прозы Платона и Цицерона, ставших учителями для нескольких поколений гуманистов, и отвечает стремлению автора представить придворную среду в качестве типичной формы социальных отношений, или светского «временипрепровождения» («*intertenimento*»), которое предстает в книге как «игра».

Человек вступает в жизнь, как игрок приступает к азартной игре. Его карты — это случайные, отнюдь не заслуженные им дары Фортуны, от него зависит только игра, ходы, выбор карты: понять положение, внять голосу Жизни — в ситуации и в нем самом, в игре, — постичь зов жизни, «призвание». Отсюда стилистически — пристрастие к термину «игры». Эта игра сродни хорошей музыке. На вопрос «какая музыка лучше всего?» Бальдассаре Кастиглионе отвечал устами некоего мессера Федерико: «Прекрасной музыкой [...] кажется мне та, которая поется с листа уверенно и с хорошей манерой; но еще лучше пение под виолу, ибо в музыке соло, пожалуй, заключается прелесть; красивая мелодия и манера игры замечаются и слушаются с гораздо большим вниманием, ибо уши заняты лишь одним голосом; при этом легче примечается каждая малейшая ошибка, чего нет при пении совместном, где один помогает другому. Но приятнее всего мне кажется пение под виолу для декламации; это придает столько изящества и силы впечатления словам, что просто удивительно!» [6, с. 523-524].

Ключевым понятием этой игры выступает «изящество-изощренность», под которым понимали определенную разновидность небрежности; что бы придворный в рамках общения ни делал, на нем должен отсутствовать даже самый незначительный налет утомленности, трудности, искусственности. Искусство здесь проявляется как искусство «скрывать и позволять» появляться всему с определенной естественностью. Этот прием обнаруживает себя уже в античной риторике, здесь же можно наблюдать, как он становится общей установкой кастиглионовского труда. Принцип «искусства сокрытия» Кастиглионе изобличает у античных раторов и привносит в дискурс придворного, расширяя его лингвистическую сферу; обозначенный принцип — как вариант риторической диссимуляции — способствует персуазивности определенного целенаправленного дискурса, поэтому имеет значение для придворного. Более того, все социальное бытие, все параметры самовыражения основываются на этом принципе: видимостью естественности придворный дает понять, что вообще-то у него не идет речь о стремлении к каким-нибудь точечным

целям. В конечном счете «изящество» порождает эстетическую дистанцию и делает непроницаемой всю сферу целей. В своем «замысле косвенно выражать» придворный устремлен к цели таким образом, что никогда не дает возможности ее распознать, т.е. всегда уже отображает, будто бы она достигнута.

Риторическая интенциональность в придворной метаморфозе является демонстрационным шоу вносимых намерений, которые становятся, однако, как ни парадоксально, как раз принципом специфически придворных целей. «Изящество-изошренность» никогда не предполагает эксплицитного определения установок — нет необходимости преследовать какие-либо цели в социальном самоутверждении — инсинуации о уже-достижении своих целей становятся как раз центральным принципом этого социального самоутверждения. «Изящество-изошренность» является не только элегантно-отказом от собственных заверений, но и в известном смысле обманом публики, так как здесь индуцируются возможные ошибки, которые только усиливаются небрежно скрытыми возможностями совместных действий.

С точки зрения языковой практики формируется новый идеал речи придворной языковой культуры: остроумной, заостренной, который в XVII столетии становится господствующим в риторической моде благодаря иезуитам и элитным авангардным элементам в системе образования Европы. Именно в середине XVII столетия в Западной Европе, да не только Европе, испытывают сильную потребность в государственном мышлении, неосточеская философия Юстуса Липсиуса находит больше и больше приверженцев, все более отчетливо ощущается эволюционный толчок к абсолютизму. Переосмысливается и идеал придворного: на коммуникативную элегантность Ка-

стиглионе накладывается компетентность индивидуальности Бальтасара Грасиана, однако эта уже тема для последующего исследования.

1. Ptasek P. Rhetorische Rationahät. Die politische Funktion überzeugender Rede. München, 1993. 173 s.
2. Ptasek P. Sandkaulen-Bock B. Wagner J. Zenkert G. Macht und Meinung. Die rhetorische Konstitution der politischen Welt. Göttingen, 1992. 290 s.
3. Аристотель. Риторика // Античные риторика. М.: МГУ, 1978. 352 с.
4. Цицерон Марк Туллий. О старости. О дружбе. Об обязанностях. (Литературные памятники) / Пер. с латинск. и комментарии В.О.Горенштейна. М.: «Наука», 1993. С.50.
5. Цицерон Марк Туллий. Топика // Цицерон Марк Туллий. Эстетика: трактаты, речи, письма. М., 1994. 540 с.
6. Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения / Сост. В.П.Шестаков. М.: «Музыка», 1966. 547 с.

References

1. Ptasek P. Rhetorische Rationahät. Die politische Funktion überzeugender Rede. München, 1993. 173 s.
2. Ptasek P. Sandkaulen-Bock B. Wagner J. Zenkert G. Macht und Meinung. Die rhetorische Konstitution der politischen Welt. Göttingen, 1993. 290 s.
3. Aristotle. Ritorika [Rhetorica]. Antichnye ritoriki [Antique rhetorics]. Moscow, MSU Publ., 1978. 352 p.
4. Marcus Tullius Cicero. Cato Maior de senectute (Cato the Elder On Old Age). De amicitia (On Friendship). De officiis (On Duties). Literaturnye pamiatniki [Literary monuments]. Trans. V.O.Gorenshtein. Moscow, Nauka Publ., 1993, p. 50.
5. Marcus Tullius Cicero. Topika [Topica]. Estetika: traktaty, rechi, pis'ma [Esthetics: tractates, speeches, letters]. Moscow, 1994. 540 p.
6. Shestakov V.P., comp. Muzykal'naia estetika zapadnoevropeiskogo srednevekov'ia i Vozrozhdeniia [Musical aesthetics of the West European Middle Ages and Renaissance]. Moscow, "Muzyka" Publ., 1966. 547 p.